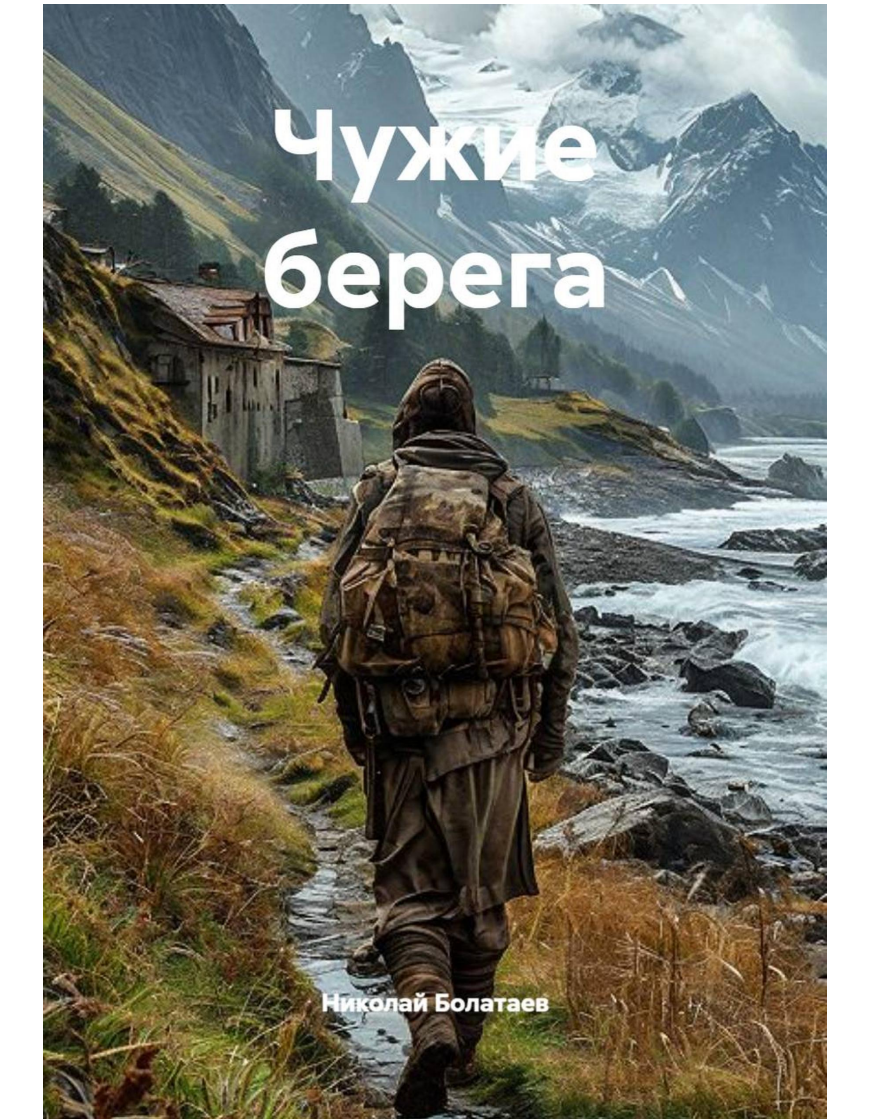


A person wearing a hooded raincoat and a large, tan-colored backpack is walking away from the viewer on a narrow, wet stone path. The path is flanked by tall, dry grass and green patches. To the left, there is a small, old stone building with a tiled roof. In the background, a dramatic mountain landscape unfolds with steep, rocky slopes, patches of snow, and a small body of water or lake. The sky is overcast with grey clouds. The overall mood is somber and adventurous.

Чужие берега

Николай Болатев

Николай Болатаев

Чужие берега

<https://litres.ru/74228078>

SelfPub; 2026

Аннотация

Двенадцать историй о людях, которые оставили дома ради чужих берегов — и о цене, которую за это платят. Вельдария, Кайрат, Ольхерн, Сорвия и другие страны - на этих страницах не найти ни на одной карте: вымышленные, они позволяют говорить не о политике, а о человеке — том, что происходит с ним, когда единственный выход — бежать.

Здесь нет громких подвигов и лёгких развязок. Женщина, бегущая от обстрела с чужим рюкзаком в руках. Мужчина, уходящий через горы, чтобы прокормить семью, которую больше никогда не увидит целиком. Девочка, теряющая голос в стране, где кричать некому. Их объединяет не география, а одна и та же тяжесть в груди — и молчание, которое умеет говорить громче любых слов.

Книга о том, что дом можно унести с собой по частям: в запахе хлеба, в мелодии колыбельной, в шраме, который никогда до конца не заживает. И о том, что выжить — это ещё не то же самое, что перестать быть чужим.

Содержание

От автора	4
Нет дома	5
Кайрат	14
Конец ознакомительного фрагмента.	22

Николай Болатаев

Чужие берега

От автора

Стран, о которых пойдёт речь в этой книге, нет ни на одной карте. Вельдария, Кайрат, Ольхерн, Сорвия, Бельтана, Мирандия, Ротбург, Альвен, Дорвель, Ксанта, Гаварра и Тольмия — вымышлены от первой до последней буквы. У них нет ни флагов, ни столиц, ни истории, которую можно было бы проверить.

Это сделано намеренно. Как только читатель узнаёт на карте свою страну или чужую, он начинает искать виноватых и правых, вспоминать новости, спорить о политике. А эта книга не о политике. Она о том, что происходит с человеком, когда он берёт чемодан — или не берёт ничего, потому что чемодана нет, — и уходит из единственного места, которое когда-либо называл домом.

Двенадцать историй. Двенадцать разных дорог. Одна и та же тяжесть в груди, которую не облегчает ни один паспорт.

Нет дома

Мира всегда была из тех людей, кто наводит порядок в хаосе цифрами, а не словами, — ещё в школе она раскладывала домашние задания по папкам, которые сама подписывала, и потом посмеивалась над одноклассниками, штурмовавшими учебники в последнюю ночь перед контрольной. Мать называла это занудством, а пожилая соседка с первого этажа — «инженерной хваткой в обычной вельдариийской девчонке», и Мира не обижалась ни на то, ни на другое, потому что и сама знала: там, где другие тонут в чувствах, она считает. Именно поэтому в первую неделю после бегства она не рыдала и не металась — она считала. Мира отсчитывала дни не по календарю, а по тому, сколько раз успевала обменять пустую бутылку на воду. На пятый обмен она поняла, что дома больше нет — не потому, что ей кто-то сказал, а потому, что перестала сниться улица, на которой она выросла. Ей снился теперь только автобус.

Город, где она выросла, лежал в неглубокой речной долине, окружённой пологими холмами, засаженными яблоневыми садами, — весной, когда сады цвели, воздух над крышами становился почти сладким, а осенью улицы пахли прелой листвой и печным дымом из частных домов на окраине. Центральная площадь с фонтаном, давно пересохшим, но не снесённым по какой-то местной сентиментальности,

была тем местом, где назначали свидания, отмечали выпускные и, позже, провожали в армию — а затем, когда пришла война, тем самым местом, куда падали снаряды, потому что рядом стояло здание администрации.

До войны она была самым обычным человеком, каким и должна быть двадцатисемилетняя женщина в маленьком городе: работала в бухгалтерии мебельной фабрики, по субботам ходила с подругами в единственное в городе кафе с приличным кофе, откладывала понемногу на новую кухню, потому что старую хотела переделать ещё с прошлой весны. Утро того дня, когда всё закончилось, ничем не отличалось от сотен других: она стояла у плиты, дожидаясь, пока закипит чайник, и слушала по радио прогноз погоды — обещали дождь к вечеру. Дождь так и не пошёл. Вместо него пришло другое.

Автобус увёз её из Вельдариин в ту ночь, когда обстрел дошёл до квартала за рынком. К тому времени отец Миры уже третий год не вставал с постели после инсульта, и мать наотрез отказывалась оставить его одного — «Брошенный лежащий человек умирает быстрее, чем от снаряда», — говорила она, и это было не упрямство, а простой расчёт человека, привыкшего отвечать за тех, кто не может сам о себе позаботиться. Автобус, о котором знала мать, брал только тех, кто мог идти сам, — лежащих в него не пускали, а на частную машину с водителем, готовым рискнуть под обстрелом, денег в семье не было. Мать сунула Мире в руки рюкзак — не

её собственный, чей-то чужой, зелёный, с оторванной лямкой, — и сказала три слова: «Иди. Не оборачивайся». Мира не спросила, куда идти. В такие ночи не спрашивают, а если бы спросила — не услышала бы ответа, потому что мать сама не знала, что будет с ней и с отцом дальше, и не хотела, чтобы дочь запомнила её плачущей от неизвестности, а не спокойной от решимости.

Границу с Тарновом она перешла в толпе, где никто не знал имён соседей. Женщина слева всю дорогу молилась не своему богу — вслух, монотонно, будто укачивала ребёнка, которого не было. Мужчина справа нёс на плечах девочку лет шести и не опускал её ни разу за восемь часов, хотя руки у него давно свело судорогой. Мира это видела в свете фонарика пограничника, скользнувшем по колонне на секунду и погасшем.

Рядом с ней всю дорогу шла девушка чуть младше — Ора, как выяснилось позже, — которая всё время держалась настолько близко, что их плечи то и дело соприкасались, будто это касание было единственным доказательством, что обе ещё не растворились в темноте окончательно. Они не разговаривали первые несколько часов — не было сил на слова, — но когда колонна остановилась на короткий привал у высохшего русла реки, Ора вдруг протянула Мире половину сухаря, которого у неё самой оставалось на один укус, и сказала только: «На», не дожидаясь благодарности. Этот сухарь, размокший от пота в кармане Оры, Мира запомнила лучше,

чем многое из того, что случилось потом, — потому что в ту ночь это было первым жестом, не имевшим отношения к выживанию как таковому, первым напоминанием, что люди остаются людьми даже там, где, казалось бы, для этого не осталось места.

Тарнов встретил их равнинным ландшафтом, настолько непохожим на холмистую Вельдарию, что Мире первое время казалось, будто она смотрит на плоскую декорацию, а не на настоящую землю: бесконечные поля до горизонта, редкие лесополосы, низкое серое небо, придававшее даже полудню сумеречный оттенок. Лагерь в Тарнове был не лагерем в её представлении — не палатки в чистом поле, а бывший спортивный комплекс с протекающей крышей и запахом хлорки, забивающим всё остальное. Триста коек. Один душ на этаж, работающий по расписанию, которое никто не соблюдал. Воду выдавали в пластиковых бутылках, хранившихся штабелями на солнцепёке у входа, — тёплую, с привкусом самого пластика, въевшимся так прочно, что этот привкус потом преследовал Миру ещё годы, стоило поднести к губам обычный стакан воды в жаркий день. Мира получила номер — не имя, номер, — написанный маркером на запястье, потому что браслеты закончились в первую неделю.

Первые месяцы она молчала. Не потому что не знала языка — тарновский она понимала почти с рождения, мать учила её словам ещё до того, как началась война, будто предчувствовала, — а потому что не находила, что сказать. Каждое

слово на новом месте требовало объяснения: откуда ты, что случилось, есть ли у тебя документы, где твоя семья. У неё не было готовых ответов. Семья была там, в темноте между «была» и «не знаю».

Работница лагеря, женщина по имени Ханна, каждое утро приносила список: кому в какой кабинет, к какому времени, с какими бумагами. Списки Мира выучила наизусть быстрее, чем имена людей вокруг. Список был понятнее человека. Список не спрашивал, как ты справляешься.

Ора оказалась полной противоположностью Миры — горливой, порывистой, из тех, кто плачет громко и смеётся ещё громче, — и первое время это раздражало Миру почти физически, пока однажды вечером Ора не застучала её за составлением списка вещей, которые нужно сделать на этой неделе: «постирать», «спросить про курсы», «узнать про Ору-сестру». «Ты серьёзно? — фыркнула Ора, заглядывая через плечо. — У тебя список даже для того, чтобы горевать?» Мира тогда впервые за много недель улыбнулась настоящей улыбкой, не вежливой гримасой для персонала лагеря, и ответила: «Список — это не вместо горя. Это чтобы горе не съело меня раньше времени». Ора расхохоталась так, что на них зашикали с соседних коек, и с того вечера начала звать её не иначе как «наш бухгалтер катастроф» — прозвище, прилипшее на месяцы и неизменно вызывавшее у Миры сухую усмешку. Койка Оры стояла в соседнем блоке, и вечерами, когда лагерь понемногу затихал, они садились рядом

на пол у батареи — единственное тёплое место в здании — и говорили ни о чём: о том, какая каша была на ужин, о том, что кто-то из соседнего блока храпит так, что слышно через две стены, о старых фильмах, которые обе смотрели детьми, хотя выросли в разных городах Вельдариин. Именно в этих разговорах ни о чём Мира впервые за месяцы почувствовала что-то похожее на нормальность — не потому что жизнь стала легче, а потому что рядом появился человек, с которым можно было молчать так же спокойно, как говорить. Спустя полгода Ору перевели в другой лагерь, ближе к сестре, которую она наконец нашла через реестр беженцев, и они обменялись телефонами, обещая писать. Мира писала первое время каждую неделю, потом реже, потом раз в несколько месяцев — не потому что забыла, а потому что жизнь у обеих понемногу заполнялась новыми заботами, которые не оставляли места для старых разговоров ни о чём. Но сухарь она помнила.

Спустя четыре месяца её вызвали на собеседование — то самое, от которого зависело всё: останется она в Тарнове легально или нет. Чиновник, немолодой, с усталыми глазами человека, который слышал тысячу похожих историй и давно перестал в них удивляться, спросил её просто: «Расскажите, что произошло».

Мира открыла рот и не смогла произнести слово «дом». Оно застряло где-то между гортанью и языком, как будто тело отказывалось признавать, что дома больше нет, раз она

ещё жива и должна произносить это вслух в казённом кабинете под гудящей лампой. Во рту стоял тот же металлический привкус, что преследовал её с ночи бегства, — привкус то ли крови от прикушенной щеки, то ли просто страха, который, оказывается, тоже имеет вкус, если он живёт в тебе достаточно долго. Она заплакала — не театрально, не для протокола, а потому что тело устало держать всё внутри. Чиновник подождал. Не поторопил. Пододвинул салфетки.

— У вас есть время, — сказал он. — Расскажите, когда сможете.

Она рассказала. Про мать, про рюкзак с оторванной лямкой, про автобус, про женщину, которая молилась ребёнку, которого не было. Про то, что не знает, жива ли мать — связь оборвалась на третий день, и с тех пор в этом месте её жизни висит просто тишина, не хуже и не лучше остального.

Разрешение ей дали. Не потому что история была особенно страшной — таких историй чиновник слышал по три в день, — а потому что она была правдой, и в правде не было прорех, за которые можно зацепиться, чтобы отказать.

Через год Мира сняла комнату в доме на окраине Тарнова — маленькую, с окном во двор, где сосед выращивал помидоры в старых вёдрах. Улица была тихой, застроенной невысокими панельными домами шестидесятых годов, с одинаковыми балконами, увешанными бельём, и одним и тем же чахлым сквером через дорогу, где по вечерам сидели старики с семечками, — ничего общего с холмами и садами Вельда-

рии, но именно эта обыденность, лишённая всякой красоты, оказалась той почвой, на которой легче всего было начинать заново, потому что она не требовала сравнений. Первую работу она искала три месяца — рассылала резюме бухгалтера, звонила по объявлениям, ходила на собеседования, где вежливо кивали и говорили «мы вам перезвоним», а потом не перезванивали. Один работодатель прямо сказал, что предпочитает не связываться с сотрудниками «со статусом» — так это называлось в объявлениях, статус, будто речь шла не о человеке, а о категории товара с истекающим сроком годности. Она подрабатывала расклейкой листовок, мыла подъезды у знакомой Ханны, полтора месяца сидела с чужими детьми за еду и немного денег, пока не увидела объявление о наборе в пекарню на углу — туда брали без опыта, лишь бы руки не боялись раннего подъёма.

Она устроилась на курсы, потом на работу в пекарню, потом снова на курсы, потому что оказалось, что диплом бухгалтера, который она получила в Вельдариин, здесь не значит ничего без пересдачи половины экзаменов. По вечерам после смены она садилась за учебники тарновского бухгалтерского законодательства, путая с усталости термины, которые днём произносила без запинки на работе с покупателями.

Привкус того лагерного пластика никуда не делся, только затаился. Однажды хозяин пекарни, обычно спокойный, сорвался на крик из-за недостачи в кассе, которую Мира не совершала, — и, стоя перед ним, оправдываясь, она вдруг сно-

ва почувствовала во рту тот самый металл, ту самую тёплую пластиковую воду из штабеля бутылок на солнцепёке, хотя ничего похожего в руках у неё не было. Тело помнило страх точнее, чем помнила голова, и с тех пор Мира знала: стоит ей солгать, испугаться или просто оказаться перед кем-то, кто повышает голос, — и вкус вернётся, будто где-то на языке навсегда осталась метка, поставленная в ту ночь у автобуса.

Однажды вечером, раскладывая хлеб по полкам, она поймала себя на том, что напевает песню, которую пела мать, укладывая её спать. Мелодия вышла сама, без спроса, и Мира замерла с батоном в руках, потому что впервые за два года ей не было больно вспоминать.

Дом, которого больше нет, не исчезает совсем. Он просто переселяется — из улицы в песню, из квартиры в запах хлеба, из фотографии в привычку заваривать чай именно так, а не иначе. Мира поняла это не сразу. Но поняв, перестала искать дом на карте и начала строить его заново — из того немногого, что уместилось в зелёном рюкзаке с оторванной лямкой, и из того многого, что оказалось внутри неё самой.

Кайрат

Ясен с детства был из тех, кто больше делает, чем говорит, — не потому что нечего сказать, а потому что слова казались ему валютой, которую не стоит тратить попусту. В деревне его прозвали Молчуном ещё в школе, но прозвище это было незлым: односельчане знали, что если Ясену нужно что-то починить, донести, разгрести, он придёт без просьбы и уйдёт без благодарности, а если разговорится — значит, дело серьёзное. Единственным, с кем он позволял себе быть многословным, была младшая сестра, которую в детстве баловал самодельными свистульками и глупыми прибаутками. Привычка балагурить с самыми близкими и молчать со всеми остальными осталась в нём на всю жизнь. Только круг «самых близких» с годами сужался, а не расширялся. Деревня, где вырос Ясен, лепилась к склону горы такими же каменными домами, как у соседей и деда. Плоские крыши, где сушили абрикосы. Улочки такие крутые и узкие, что молоко и хлеб возили только на ослах. По утрам туман поднимался из ущелья и подолгу висел над крышами, прежде чем солнце выжигало его дочиста. Вечерами с гор спускался холод — ощутимый даже в разгар лета. Именно этот холод, эту тесноту между скалами Ясен вспоминал потом чаще всего. Чаще, чем лица людей, оставшихся там.

В ночь перед уходом мать не спала — Ясен слышал, как

она ходит по кухне, переставляет посуду без всякой надобности, только чтобы занять руки. Под утро она разбудила его не словами, а тем, что просто села на край кровати и стала смотреть, как он спит, будто хотела заучить его лицо наизусть, прежде чем оно исчезнет за горизонтом на неизвестный срок. За завтраком никто не проронил ни слова о предстоящем — говорили о соседской козе, о том, что дождь собирается, о чём угодно, лишь бы не о том единственном, что имело значение в это утро. Только у калитки отец обнял его коротко, по-мужски, не позволяя себе больше пары секунд, и сказал в самое ухо: «Возвращайся, если получится. Не возвращайся, если не получится, но живи». Ясен запомнил эти слова лучше, чем собственное имя, — они стали единственным, что он взял с собой, кроме рюкзака и денег.

Ясен заплатил проводнику всё, что у него было, и ещё то, чего у него не было — деньги, одолженные у дяди под расписку, которую в Кайрате никто бы не назвал законной, но которую все считали священной. Проводник взял купюры, не пересчитывая, сунул в нагрудный карман и сказал одно: «Идёшь, куда скажу, останавливаешься, когда скажу. Иначе — сам».

Их было четырнадцать человек в группе. Ясен запомнил не лица — в темноте лиц толком не разглядеть, — а звуки: чьё-то надсадное дыхание, скрип чужих ботинок по камню, детский кашель, который мать глушила, прижимая ребёнка к груди так, что казалось, вот-вот задушит. Горы между Кай-

ратом и Ольхерном не значились ни на одной туристической карте маршрутов. Только на картах тех, кто занимался этим ремеслом не первый год. Это был не один хребет, а лабиринт: голые серые скалы, осыпи, узкие тропы между отвесными склонами. Даже днём солнце добиралось туда на пару часов. Ночью холод стоял такой, что дыхание превращалось в пар и оседало инеем на бровях.

Шли по ночам. Днём отсиживались в расщелинах, укрывшись брезентом, экономя воду, которую делили по глоткам, отмеряя жизнь чайными ложками. На второй день пути группе пришлось переходить горную реку — не широкую, но быструю и ледяную, взбухшую от недавнего таяния снегов в верховьях. Проводник переходил первым, проверяя дно шестом, и один за другим переводил остальных, держа за руку, хотя вода доходила иным по грудь. Женщина с грудным ребёнком переходила последней — прижимая свёрток к плечу так высоко, как только могла поднять руки, и всё равно вода лизнула край одеяла. Ребёнок не заплакал — то ли от испуга, то ли от того, что за месяц пути уже успел разучиться плакать, как разучиваются все, кто слишком рано узнаёт, что плач ничего не меняет. На берегу Ясен снял с себя сухую куртку — единственную сухую вещь, что у него оставалась, — и отдал женщине завернуть ребёнка, хотя сам потом трясся от холода остаток ночи. Она не сказала спасибо. Просто посмотрела так, что он понял: слова здесь были бы лишними.

На третью ночь один из группы, мужчина лет пятидесяти,

подвернул ногу на спуске. Проводник посмотрел на него долгую секунду и сказал остальным: «Ждать не будем». Мужчины остались сидеть на камне — и рядом с ним, на камне же, остался лежать зелёный рюкзак с оторванной лямкой, который он снял с плеч перед тем, как окончательно понять, что дальше идти уже не сможет, будто налегке было легче принять то, что с ним происходит. Ясен до конца жизни помнил не только его лицо, но именно этот рюкзак — то, как мужчина не потянулся его поднять, когда группа тронулась дальше, — потому что тот, кто не кричал и не просил, просто смотрел им вслед, будто уже знал ответ на вопрос, который не успел задать.

Ясен несколько раз хотел повернуть назад. Не из страха — страх притупился где-то на второй день, — а из усталости, которая не измеряется километрами. Но за спиной у него был Кайрат: отец, потерявший работу, когда завод закрыли; сестра, которой нужны были деньги на лечение; и собственное будущее, которое в Кайрате состояло из одного слова — «нет». Нет работы, нет перспектив, нет причин остаться, кроме того, что здесь были могилы дедов и запах материнской кухни.

Семьёй ехать через горы никто и не рассматривал всерьёз: проводнику платили за одного человека столько, сколько семья не собрала бы и за три года, а взять с собой немощного отца или больную сестру означало обречь на смерть не только их, но и всю группу, которая не смогла бы идти в их

темпе. Решение было принято за общим столом ещё зимой: уходит самый молодой и самый крепкий, чтобы устроиться и присылать деньги. Не потому что остальные были ему безразличны. Просто так, по одному, а не всей семьёй разом, у Кайрата вообще был шанс выжить в те годы. Кто-то оставался стеречь дом и стариков. Кто-то уходил зарабатывать на всех.

В Ольхерн он вошёл не через границу, а через дренажную трубу под шоссе, по колено в воде, которая пахла бензином и гнилью. Холод этой воды не описывался словом «холодно». Икры свело судорогой ещё на середине трубы. Ясен шёл дальше на одной злости, стиснув зубы, чтобы не закричать. Пальцы, которыми он всю дорогу цеплялся за скользкую стену, свело так, что на другом конце, выбравшись на насыпь, он несколько минут не мог разжать кулак. Стоял, тряс рукой, как чужой вещью. Пальцы разогнулись сами, один за другим, с тупой, отдающейся в запястье болью. Проводник довёл группу до окраины города, забрал последние вещи «на память» — у кого были часы, у кого кольцо, — и исчез, растворился в предрассветном тумане так же незаметно, как появился. Окраина Ольхерна, открывшаяся Ясену в то утро, оказалась серым нагромождением промышленных складов и недостроенных многоэтажек, опутанных строительными кранами. Ни гор, ни ущелий. Только плоский горизонт, переречённый линиями электропередач. Воздух пах не абрикосами и туманом, а бетонной пылью и выхлопными газами

с ближайшей развязки.

Первую работу Ясену дали на стройке — без документов, без контракта, за наличные, которые платили с опозданием и всегда меньше обещанного. Бригадир, тоже когда-то приехавший из Кайрата лет на десять раньше, объяснил правила без обиняков: «Полиция спросит — молчишь. Прораб обманет с деньгами — молчишь. Упадёшь с лесов — молчишь, потому что скорую вызывать некому, и её никто не вызовет». Ясен молчал. Он таскал кирпичи по двенадцать часов в день, спал в вагончике с семью другими мужчинами, посылал домой каждый заработанный ольхерн, оставляя себе ровно столько, чтобы не умереть с голоду.

Вагончик был тесен настолько, что раздеваться приходилось по очереди. Храп с соседней койки стал для Ясена частью ночи так же прочно, как темнота за окном. Соседи менялись: кто-то уезжал дальше, на другую стройку, кто-то возвращался домой, не выдержав, кто-то просто исчезал без объяснений. Один задержался дольше остальных — пожилой Рахим, повар в прошлой жизни. По вечерам, несмотря на усталость, он готовил на всех что-то похожее на домашнюю еду из того небольшого, что удавалось купить в ближайшей лавке.

Рахим научил Ясена нескольким фразам на ольхернском сверх тех, что требовались для работы. Не потому что это было нужно для стройки. «Человек без языка — как дом без окон, — говорил он. — Жить можно, а видеть некуда». По

вечерам они разбирали письма из дома, которые сам Ясен едва мог прочесть при плохом освещении. Рахим, не спрашивая, помогал сочинять ответы — простые, короткие, прячущие тяготы жизни за общими фразами: «всё хорошо, работа есть».

Однажды Ясен слёг с высокой температурой и трое суток не мог встать с койки. Рахим без единого слова взял на себя его смену на стройке, соврав бригадиру, что «парень занят срочным делом». Вечерами приносил в вагончик горячий бульон, сваренный из ничего. Ясен, немного оклемавшись, попытался сунуть ему деньги за пропущенные дни — по своей всегдашней привычке рассчитывать сразу и подчистую, не оставаясь никому должным. Рахим только отодвинул его руку. Ухмыльнулся той самой хитрой ухмылкой, которая появлялась у него перед тем, как сказать что-то, что запомнится: «Спрячь. Мы с тобой не в банке. Хочешь отдать долг — доживи до моих лет и свари бульон кому-нибудь ещё». Ясен запомнил буквально. Годы спустя он действительно варил бульон людям, которых едва знал, — единственная форма благодарности, которую он позволял себе принимать.

Однажды с лесов сорвался парень, с которым Ясен делил вагончик, — Дениз, младше его на два года, с семьи из соседней деревни. Упал с четвёртого этажа. Бригада стояла и смотрела, не решаясь подойти, потому что все понимали: если приедет скорая, приедет и полиция, а тогда вопросы пойдут ко всем сразу. Скорую вызвал в итоге случайный прохо-

жий, увидевший тело с улицы. Дениз выжил, но ходить нормально больше не смог. Стройка выплатила ему одну сумму — молча, без бумаг, — и попросила больше не появляться в районе.

Ясен запомнил тот день не из-за жалости, хотя жалость тоже была. Он запомнил его как момент, когда понял: цена, которую он платит за право работать без документов, — это не только усталость и голод, а собственное тело, которое в любой момент могут списать так же, как списывают сломанный инструмент.

Спустя два года ему удалось выправить бумаги — через знакомого адвоката, через программу легализации, о которой в бригаде ходили слухи месяцами, прежде чем кто-то решился проверить, правда ли это. Процесс занял ещё двенадцать месяцев: очереди, справки, переводы документов, которых у него никогда не было, потому что архив в Кайрате сгорел вместе со зданием администрации в ту самую пору, когда закрылся завод.

Когда Ясен наконец получил вид на жительство — тонкую карточку с его фотографией, снятой в первый месяц после приезда, где он выглядел на десять лет старше своего возраста, — он не почувствовал того, что ожидал. Не облегчение, не радость. Скорее усталое узнавание: теперь его существование в этой стране признано на бумаге, хотя тело давно признало это само, каждым мозолем, каждым сросшимся неправильно пальцем, каждой ночью без сна.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.